
Лара Вейн
Свеча для маяка

Лара Вейн

Свеча для Маяка

https://litres.ru/74753752
SelfPub; 2026

Аннотация

Меня привезли в корзине в августе тысяча семьсот девятнадцатого года, от мышей. Через три дня на деревянной башне зажгли огонь, и с тех пор я смотрю, чтобы он не погас. Мне триста двенадцать лет, и я ни разу не был на берегу. Я видел наводнение, Крымскую войну, блокаду и дамбу — с камня сорок шагов на тридцать. А в этом году я пошёл в город.

Содержание

Вместо предисловия	4
Пролог. Корзина	7
Часть первая. Дрова	12
Глава 2. Птица	19
Глава 3. Пров	28
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Лара Вейн
Свеча для Маяка

Вместо предисловия

Хрр. Толбухин маяк стоит на каменной отмели за западной оконечностью острова Котлин, в пяти километрах от Кронштадта. Он есть. Его видно с воды и с берега, и он работает.

Всё, что в этой книге про сам маяк, — правда, и её можно проверить.

Указ был Петра. Велено было сделать на Котлинской косе колм каменный с фонарём. Работами распоряжался капитан Эдвард Лейн. Каменного тогда не сделали — поставили деревянную башню, и огонь на ней зажгли семнадцатого августа тысяча семьсот девятнадцатого года, и первое его имя было Котлинский.

В тысяча семьсот тридцать шестом году его переименовали в честь полковника Федота Толбухина, который в тысяча семьсот пятом году отбил на этой косе шведский десант.

Каменную башню построили в тысяча восемьсот девятом и десятом годах по чертежу Леонтия Спафарьева, одобренному Адрианом Захаровым. Тридцать метров. Она стоит до сих пор.

В тысяча восемьсот десятом году в фонаре было двадцать четыре масляные лампы с посеребрёнными отражателями. Двадцать девятого июня тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года зажгли линзу Френеля третьего разряда. Керосин горел до тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года.

В Крымскую войну, в тысяча восемьсот пятьдесят пятом году, команду с маяка сняли, оптику вывезли в Кронштадт, а маяк разграбили. Починили его к двадцать седьмому октября того же года.

В Великую Отечественную башня была наблюдательным постом. Оптику разбило при налёте, остатки сняли и вывезли в тысяча девятьсот сорок втором году, и вернули на место в сорок восьмом.

В тысяча девятьсот девяносто восьмом году маяк перевели на автомат.

Это всё правда.

А кота там не было.

* * *

Хрр. Кот выдуман, и выдуманы все люди в этой книге, кроме тех, кто давно умер и чьи дела записаны: Петра, Лейна, Толбухина, Спафарьева, Захарова, Попова.

Про давно умерших я не придумала ни одного разговора. Они в книге делают только то, что делали.

А всё остальное — смотрители, их жёны, их дети, их имена, последний смотритель с Флотской улицы и девушка из маячной службы — выдумано целиком.

И последнее, чтобы не было обмана.

В этой книге нет царей, дворцов и дворцовых тайн. Тут пять километров воды, тридцать метров кирпича, сто семьдесят ступеней и один белый кот, который за триста двенадцать лет ни разу не сошёл на берег.

Он расскажет про Кронштадт.

Пролог. Корзина

Хрр. Я начну с корзины, потому что корзина — это первое, что я помню, и больше ничего до неё у меня нет.

Я не помню матери. Я не помню, где родился. Я не помню, были ли у меня братья.

У меня жизнь начинается с того, что я лежу в корзине под ветошью и меня несут.

Корзина была прутяная, с одной сломанной дугой, и сломана она была сверху слева, и в этот пролом был виден свет.

Я в этот пролом смотрел, и больше мне смотреть было некуда.

Сначала в проломе было тёмное — это был трюм. Потом в нём стало серое, и серое двигалось, и его было много, и оно шумело. Потом в проломе стало белое и очень яркое, и я зажмурился, и меня опрокинуло набок, и вместе со мной опрокинулась ветошь, и я под ней задохнулся и закричал.

Это был первый звук, который я издал в своей жизни на этой отмели, и он был не «хрр».

Он был «мяу».

Корзину поставили на камень.

Я это помню по звуку: когда прутяную корзину ставят на мокрый камень, она хрустит донцем.

И над корзиной сказали первые человеческие слова, которые я услышал и понял.

Сказали:

— Ну вот. Приехали.

* * *

Это был Пров.

Хрр. Пров Кологривов, матрос, двадцати восьми лет, рябой, с перебитой левой рукой, которая не разгибалась до конца.

Он меня и привёз.

Я вам скажу, зачем он меня привёз, потому что это не то, что подумают.

Не от одиночества и не из жалости.

От мышей.

На косу привезли дрова и провиант, и дрова лежали в сарае, а провиант в погребе, и в провианте завелось, и это было известно, и он взял кота.

Он взял меня у кого-то в Кронштадте, и я не знаю, у кого, и я этого не узнаю никогда, и это единственное, о чём я жалею.

Он вынул меня из корзины и поставил на камень, и держал, пока я не перестал оседать на лапах.

И сказал второе:

— Гляди.

И я поглядел.

Я вам опишу, что я увидел, потому что я это вижу триста двенадцать лет каждый день и за триста двенадцать лет не привык.

Я увидел, что кругом нет земли.

Это так и есть. Я сидел на камне на отмели, и камень был шагов в сорок в одну сторону и шагов в тридцать в другую, и дальше кругом была вода.

Вода была до края неба на закат и на север. На восход в воде стояла полоса — это был наш остров, низкий, серый, с лесом на нём. И на этом острове далеко справа было что-то, в чём блестело.

Это был Кронштадт.

* * *

Хрр. Я на него посмотрел в тот первый день, в августе тысяча семьсот девятнадцатого года, когда мне было несколько месяцев.

И потом я смотрел на него триста двенадцать лет.

И пришёл в него в июле тысяча двадцать... хрр. В июле две тысячи тридцать первого года.

А потом Пров поднял меня за шкирку, потому что я пошёл не туда, и повернул меня в другую сторону, и сказал третье.

Он сказал:

— А вот тут мы будем жить.

И я увидел башню.

Я вам про неё расскажу, потому что её нет.

Её разобрали в тысяча восемьсот десятом году, и ни одного её чертежа не осталось, и никто на этом свете не знает, как она выглядела, кроме меня.

Она была деревянная.

Она была рублена из бревна в лапу, в три яруса, и она была не прямая, а сужалась кверху, и она от ветра стояла криво: верхний ярус был сдвинут к востоку, потому что западный ветер её толкал девяносто один год.

Высоты в ней было саженей восемь.

Наверху была площадка с перилами и на площадке был фонарь.

Фонарь был железный ящик со стёклами, и в нём жгли дрова.

Дрова. Я это говорю и буду повторять, потому что люди, которым я это говорил, каждый раз не верили.

В первом маячном фонаре на этой отмели жгли дрова, и в первый сезон их сожгли шесть тонн, и это считали по-другому, но вышло шесть тонн, и я этот счёт слышал от людей, которые его вели.

* * *

Хрр. Я на эту башню в первый день не полез.

Я на неё полез на третий день, и меня оттуда снял Пров, и он на меня ругался, и он после этого две недели носил меня наверх сам, за шкирку, каждый вечер, чтобы я не лазил один.

А на пятнадцатый день он забыл, что я не умею, и пошёл наверх без меня.

И я пошёл сам.

Я вам скажу то, из-за чего этот пролог написан, и этим кончу.

Семнадцатого августа тысяча семьсот девятнадцатого года на этой башне зажгли огонь первый раз.

Я при этом был.

Я сидел на нижнем ярусе, потому что наверх меня в тот вечер не взяли: наверху было восемь человек и капитан, и для меня там не было места.

И я снизу слышал, как они там возятся, и как у них не занимается, и как кто-то сказал «сыро», и как Пров полез вниз за сухим, и как он на обратном пути меня чуть не сшиб.

А потом сверху пошёл дым.

И потом на мокрые камни вокруг башни упал свет.

Мне было несколько месяцев, и я не знал ни одного слова, и я не понимал, что происходит, и я испугался и залез под нижний венец.

И смотрел оттуда на освещённый камень.

* * *

Вот с этого всё и пошло.

Хрр. Триста двенадцать лет я хочу одного.

Чтобы он не погас.

Часть первая. Дрова
Глава 1. Хрр

Хрр. Теперь надо объясниться, потому что дальше будет триста лет, а я до сих пор не сказал, кто говорит.

Говорит кот.

Белый. Весь белый, без пятна, и это у кошек бывает редко, и за это мне триста двенадцать лет от людей одно и то же: сначала меня принимают не за кота.

Я перечислю, за что меня принимали, потому что я это считал.

За птицу — восемьдесят с чем-то раз.

За тряпку, забытую на камнях, — больше ста. Это с воды: белое на сером камне с полуверсты выглядит как тряпка, и в журнале при фонаре за тысяча восемьсот сорок первый год про это даже записано, и я эту запись помню и приведу её в своём месте.

За чайку — четырнадцать раз, и это обидно, потому что чайка размером с меня и дура.

Нет.

Я эту фразу написал и оставлю её, потому что я так думал двести лет, и пусть будет видно, как я думал.

А потом я её прочитал вслух одной чайке, и она мне сказала на это две вещи.

Первое: что я вдвое меньше её по размаху.

И второе:

— Кья. Мышеед. Ты за триста лет не поймал ни одной.

За знак — дважды.

Про знак я скажу отдельно, потому что это и смешно, и не очень.

В тысяча восемьсот семьдесят третьем году с проходящего парусника меня приняли за выставленный знак и записали в свою книжку, что на отмели у маяка выставлено белое, и потом про это была переписка, и смотритель наш, Афанасий Петрович Лыков, отвечал в Кронштадт бумагой, что никакого белого на отмели не выставлено.

А второй раз это было в тысяча девятьсот шестьдесят втором году, и я про это расскажу в своём месте, потому что там вышло хуже.

* * *

Теперь про звук.

Я не мурлычу.

Хрр. Я мурлыкал первые три года, как всякий кот, и я это помню.

А на четвёртом году у меня село горло.

Это от ветра и от соли: тут западный ветер триста дней в году, и когда он не западный, он северный, и зимой он несёт лёд в пыли, и воздух тут всегда с солью, и у человека, который тут живёт десять лет, голос садится тоже. У Прова к сорока годам был голос как у дверного блока.

И у меня вместо мурлыканья осталось вот это: короткое, сухое, в горле.

Я к этому привык через сто лет. Нет. Я к этому не привык, и я это говорю прямо, потому что в этой книге я не собираюсь выходить лучше, чем я есть.

Я к этому не привык за триста восемь лет.

Потому что мурлыканье — это то, чем кот говорит человеку, что всё хорошо. У кота больше ничего для этого нет: мы не умеем сказать «мне с вами хорошо» никак иначе.

И у меня этого нет.

У меня за триста двенадцать лет было пятьдесят одно человек, и ни одному из них я ни одного раза не мурлыкнул.

Я им говорил словами. Это, если хотите, больше, чем мурлыканье, и это могут не все кошки.

А словами выходит не то.

* * *

Хрр. Я вам приведу пример, и один, и больше к этому возвращаться не буду.

В тысяча девятьсот восемьдесят четвёртом году, в январе, смотритель Валентин Иванович Щетинин, которому тогда было двадцать семь лет, трое суток не спал: у него заболела дочь, а льда ещё не было и воды уже не было, то есть по воде нельзя и по льду нельзя, и с берега не шли.

Это тут бывает в ноябре и в апреле, и это называется у нас «никак».

И на третьи сутки он сидел в нижней комнате у стола, и у

него тряслись руки, и я влез к нему на стол и сел перед ним и сказал:

— Хрр. Валентин Иванович. Она не умрёт.

Он поднял голову и сказал:

— Ты откуда знаешь.

И я сказал:

— Хрр. Я видел сорок таких. Эта не умрёт.

Я соврал.

То есть я не соврал в счёте: я правда видел на этом маяке сорок с чем-то больных детей за двести шестьдесят лет, и я правда знаю, как выглядит тот, который умрёт, и она выглядела не так.

А соврал я в том, что сказал это уверенно.

И он мне поверил.

И он в ту ночь уснул, сидя, у стола, и проспал четыре часа, и это было ему нужнее всего на свете, и девочка выжила и жива сейчас, и ей пятьдесят два года, и она работает в бухгалтерии в Кронштадте.

* * *

Хрр. А теперь то, из-за чего я это рассказал.

Если бы я умел мурлыкать, я бы в ту ночь не говорил ничего.

Я бы влез к нему на колени и мурлыкал, и он бы уснул на час раньше, и я не стал бы при этом врать.

Ладно.

Про годы.

Мне триста двенадцать лет. Я родился весной тысяча семьсот девятнадцатого года, где — не знаю, у кого — не знаю.

Я не знаю, почему я столько живу.

Я про это думал, по моему счёту, лет сорок, с тысяча восемьсот двадцатых по тысяча восемьсот шестидесятые, и больше не думаю, потому что додумать тут нечего.

Я не стареющий, не болеющий и не растущий: я к двум годам стал какой есть и с тех пор такой.

Я один раз, в тысяча восемьсот девяносто первом году, спросил об этом доктора, который приезжал на маяк по случаю и который меня слышал, потому что он был из тех, кто слышит.

Он меня слушал двадцать минут, молча, а потом сказал:

— Я вам, простите, ничего не скажу. Я такого не видел и не читал. Я вам одно скажу: вы, пожалуйста, никому больше не говорите.

Я и не говорил.

Теперь про то, кто меня слышит, и тут я скажу неправду.

Я её скажу нарочно, потому что я её сам считал правдой до двадцать тридцать первого года, а правду узнал в июне, и будет честнее, если читатель пройдёт этот путь со мной, а не получит готовое.

Так вот.

Меня слышат маячные.

* * *

Хрр. Я так считал двести девяносто лет.

У меня было пятьдесят одно человек, и все пятьдесят одно были люди при маяке: смотрители, их денщики, матросы при фонаре, их жёны, их дети, механики, два инженера и один доктор.

И я из этого сделал вывод, какой сделал бы каждый: меня слышат те, кто служит при маяках.

Потому что я маячный, и они маячные.

Это было неправильно.

Это было неправильно двести девяносто лет, и я вам в своём месте расскажу, как я это понял и на чём я споткнулся, и споткнулся я на бухгалтерии.

И последнее в этой главе.

Я не был на берегу.

Триста двенадцать лет.

Отмель, на которой стоит башня, — это камень шагов сорок на тридцать, и в прилив меньше. От неё до косы по воде саженей сто, и коса — это наш остров, и по косе до Кронштадта пять километров.

Я был на косе.

Я на косу ходил, когда стоял лёд, и ходил я туда, по моему счёту, раз шестьдесят за триста лет, и дальше чем на версту по косе я не уходил ни разу, потому что дальше нечего.

А в город я не был.

Я на него смотрел.

Я смотрел на него триста двенадцать лет, и я знаю его си-

луэт лучше, чем любой человек на свете: я видел, как в нём поднялся собор, и как встали заводские трубы, и как погасли все огни в сорок первом году, и как они зажглись в сорок четвёртом.

Я знаю, в какой год там появилось какое строение, с точностью до месяца.

И я не знаю, как там пахнет.

Глава 2. Птица

Хрр. Теперь надо про чайку, потому что она в этой книге будет всё время и потому что я про неё до сих не сказал ни слова.

Я про неё не сказал потому, что я не знал, с чего начать.

Начну с того, что она была тут раньше меня.

Я её увидел на второй день.

То есть на второй день после того, как меня вынули из корзины и поставили на камень, в августе тысяча семьсот девятнадцатого года.

Мне было несколько месяцев, и я был размером с ладонь, и я второй день ходил по камню и всё обнюхивал, и я к тому времени уже влез на нижний венец деревянной башни и слез с него.

И на северном камне сидели чайки.

Их было, по моему счёту, девять, и они сидели в порядке, и я тогда ещё не знал, что они всегда садятся в одном и том же порядке, и я это понял через год.

И я пошёл на них.

Я вам скажу, что я собирался сделать, и это было глупо так, как бывает глупо только в несколько месяцев.

Я собирался их взять.

Я к тому времени в своей жизни не взял ни одной мыши, потому что я их ещё не видел, и я вообще никого не взял, и

я не знал, какого я размера.

А чайка, если вы её не видели вблизи, большая.

Серебристая чайка с камня — это, если считать по мне теперешнему, вдвое меня по размаху и чуть меньше меня по весу, и у неё клюв такой, что ею можно пробить ящик.

А я был с ладонь.

* * *

Хрр. И я пошёл на них, и восемь поднялись.

А одна осталась.

Вот это я и запомнил на триста двенадцать лет.

Восемь улетели, а одна осталась сидеть.

И она смотрела, как я иду.

И я дошёл до неё, по моему счёту, шага на два.

И она опустила голову и посмотрела на меня одним глазом сверху вниз.

И сказала:

— Кья. Ты чего.

Я вам сейчас объясню, что со мной сделалось, и мне на это нужно несколько строк.

Я сел.

Я сел на камень в двух шагах от птицы, которая была вдвое меня, и у меня в голове случилось то, чего у меня потом не случалось триста двенадцать лет.

Потому что я до этой минуты не знал, что со мной можно разговаривать.

Я вам напомню: Пров услышал меня в июле тысяча семь-

сот двадцатого года, то есть через одиннадцать месяцев.

И до июля двадцатого года я жил на этом камне и ни с кем не говорил.

А она со мной заговорила на второй день.

И я ей ответил.

Я не помню, что я ей ответил, и это единственное место в этой книге, где я не помню своих собственных слов: мне было несколько месяцев, и я говорил, по моему счёту, слов десять.

А что сказала она, я помню.

Она сказала:

— Кья. Иди отсюда, мышеед.

* * *

Мышеед.

Хрр. Я вам скажу, что это слово значит в её языке, и объяснила мне это она сама, через, по моему счёту, лет сорок, когда я у неё спросил.

Это у них самое последнее слово.

У чаек еда — рыба, и рыбу они берут из воды, и это у них работа и достоинство.

А тот, кто ест то, что ходит по земле, у них ниже всех.

И они сами это едят, и едят охотно, и воруют, и берут со свалки, и я это видел триста двенадцать лет.

А слово держат как оскорбление.

И она меня зовёт мышеедом с августа тысяча семьсот девятнадцатого года.

Триста двенадцать лет.

Теперь про то, что было в ночь на девятнадцатое августа, и из-за этого я эту главу поставил тут.

Я вам напомню, что было семнадцатого августа: на деревянной башне первый раз зажгли огонь, и я сидел внизу, потому что наверх меня не взяли, и я испугался и залез под нижний венец.

А через два дня, девятнадцатого, был западный с дождём, и огонь гас два раза, и его зажигали вновь, и при фонаре был Пров.

И я в ту ночь полез наверх.

Я вам скажу, зачем полез, и это надо сказать честно.

Из-за неё.

* * *

Хрр. Она в тот вечер сидела на перилах верхней площадки.

На самом верху, на перилах, у фонаря, в котором горели дрова.

И я её оттуда увидел снизу.

И я полез.

И я влез.

По наружной лестнице, в два колена, восемь саженей, в западный ветер с дождём, в несколько месяцев, в первый раз в жизни.

И я влез.

И она на меня посмотрела и сказала:

— Кья. Ну надо же.

И я сел на перила рядом с ней.

То есть не рядом: я сел на перила, по моему счёту, шагах в трёх, и я сел на них потому, что больше там сесть было некуда, потому что на площадке стоял Пров и возился с фонарём.

И я на этих перилах сидел.

И под перилами было восемь саженей, и внизу был мокрый камень.

И я понял, что я вниз не слезу.

Это со мной за триста двенадцать лет было один раз, и это было в ту ночь.

Я влез туда, куда не умел слезть.

И она это поняла.

И вот тут она сделала первое из того, что она делала потом триста двенадцать лет.

Она стала надо мной издеваться.

Я вам приведу, что она говорила, и приведу я это так, как помню, и я это помню дословно, потому что это было первое, что я услышал в своей жизни от живого существа подряд и много.

Она сказала:

— Кья. Ну давай. Слезай.

И потом:

— Кья. Ты лез-то зачем.

И потом:

— Кья. Хочешь, я тебя вниз снесу? Я тебя вниз снесу.

Один раз.

* * *

Хрр. И вот это «один раз» она потом говорила мне триста двенадцать лет, и это у нас с ней стало вместо приветствия.

Потому что «я тебя вниз снесу один раз» значит в её языке только одно.

И я ей ответил.

И я ей ответил то, что я помню, потому что я этих слов тогда знал, по моему счёту, три:

— Хрр. Я тебя съем.

И она засмеялась.

Чайки смеются.

Я это говорю как есть: у них есть звук, который они делают, когда им смешно, и он идёт у них на выдохе, короткими, по три и по четыре, и его слышно далеко, и люди его слышат и думают, что это крик.

И она в ночь на девятнадцатое августа тысяча семьсот девятнадцатого года, на перилах деревянной башни Котлинского маяка, смеялась, по моему счёту, минуты две.

И на этот смех обернулся Пров.

И вот теперь то, из-за чего эта глава стоит в книге и из-за чего я её вообще написал.

Он обернулся и увидел.

Он увидел на перилах верхней площадки, у горящего фонаря, в западный ветер с дождём, белого котёнка размером с ладонь, который сидел на перилах прямо и держался всеми

четырьмя.

* * *

И он застыл.

Хрр. И он застыл не от умиления: он застыл потому, что если он сделает шаг, я свалюсь.

И он стоял, по моему счёту, минуты полторы.

А потом он позвал тех, кто был внизу.

Позвал тихо, через пролёт.

И они поднялись, и их стало трое, и они стояли на площадке и смотрели на меня.

И я сидел на перилах прямо, потому что иначе я бы свалился.

И Пров сказал одно слово.

Он сказал одно слово, и трое засмеялись, и смеялись они громко, и один из них сел на доски.

И я этого слова не понял.

Я вам напомню, что мне было несколько месяцев и что я знал, по моему счёту, слов двадцать.

И это слово было не из них.

А потом один из тех двоих сказал Прову что-то, и Пров рассердился.

И он не рассердился по-настоящему: он рассердился так, как сердятся, когда поддразнили.

И он им ответил, и ответил он тремя короткими фразами, и он их сказал подряд, как перечисляют.

И я эти три фразы запомнил.

И я их носил триста двенадцать лет и не понимал, о чём они.

Вот они.

Он сказал:

— Башня — она.

— Коса — она.

— Вода — она.

Я эти три фразы помню триста двенадцать лет дословно, и я их за триста двенадцать лет не понял, и я их не рассказывал ни одному живому существу, потому что их нельзя рассказать: это три фразы ни про что.

И я их понял в сентябре двадцать тридцать первого года.

* * *

Хрр. И понял я их не из бумаги.

В бумаге, которую нашла Анастасия Львовна Кудрявцева в июле двадцать тридцать первого года и прочитала мне семнадцатого августа на моём камне, этих трёх фраз нет.

В бумаге стоит шесть слов: «Приведён кот белый для мышей. Кличка Свеча».

А трёх фраз в бумаге нет, потому что их никто не записывал: их сказали вслух на площадке деревянной башни в ночь на девятнадцатое августа тысяча семьсот девятнадцатого года, и слышали их трое человек и один котёнок.

И одна птица.

И она их помнила.

И про то, как она мне их объяснила и как я от этого три

дня не мог сидеть на одном месте, у меня будет в конце.

А тут я кончу тем, чем кончилась та ночь.

Меня снял Пров.

Он снял меня с перил двумя руками, и он при этом стоял на площадке на коленях, чтобы ниже, и он меня снял и сунул за пазуху, и понёс вниз.

И на лестнице он мне сказал первое, что он мне сказал в своей жизни по-настоящему.

Он сказал:

— Ну ты дурак.

А птица осталась на перилах.

И когда мы спускались, она сверху сказала мне вниз:

— Кья. Ну что, мышеед. Снесли тебя.

* * *

И я ей снизу ответил:

— Хрр. Я тебя съем.

Хрр. И вот этими двумя фразами мы с ней триста двенадцать лет и обмениваемся.

Глава 3. Пров

Хрр. Пров Кологривов был мой первый человек, и он у меня был двадцать два года.

С августа тысяча семьсот девятнадцатого по сентябрь тысяча семьсот сорок первого года.

Я про него расскажу подробно, и я вас предупрежу, что ничего большого в этом рассказе не будет.

Он не воевал, не изобретал, не разговаривал с государями и не сделал в своей жизни ни одной вещи, которую стоило бы записать.

Он двадцать два года жёг огонь на деревянной башне.

Теперь по порядку.

Пров Матвеев сын Кологривов. Родился, по его словам, в девяносто первом году, то есть в тысяча шестьсот девяносто первом. Из-под Вологды. Взят на службу в семисотом году, и взят он был не на флот, а в работные люди, и попал на воду случайно.

Левая рука у него не разгибалась от локтя, и это было с девятьсот четвёртого года: на работах уронили брус.

Он мне про это сказал один раз в жизни и сказал так: «Хорошо, что левая».

Он был рябой, невысокий, широкий, и у него была привычка перед работой три раза стукнуть костяшками по дереву.

По любому. По столу, по перилам, по двери, по борту лодки. Три раза, негромко.

Я у него за двадцать два года спросил про это дважды, и оба раза он не ответил, и я думаю, что он сам не знал.

* * *

Хрр. Он меня услышал на второй год.

Я вам про это расскажу точно, потому что это первый такой случай в моей жизни и я с тех пор видел его пятьдесят раз, и он всегда один и тот же.

Человек сначала тебя не слышит.

Потом человек начинает слышать, но не понимает, что слышит: он поворачивает голову, он спрашивает «что?», он думает, что это ветер или что ему сказали со двора.

А потом в один день он тебя слышит и понимает, и в этот день у человека делается лицо, и это лицо всегда одно и то же, и за триста двенадцать лет я его видел пятьдесят один раз.

У Прова это было в июле тысяча семьсот двадцатого года.

Мы были наверху, и он протирал стёкла, и он стоял спиной.

И он уронил тряпку с площадки.

Тряпка упала вниз, на камень, и это было восемь саженей, и он сказал то, что говорят в таких случаях.

И я сказал:

— Хрр. Я принесу.

Он обернулся.

Он стоял и смотрел на меня, по моему счёту, минуты полторы, и за эти полторы минуты он ни одного раза не шевельнулся.

А потом сел на доски площадки, потому что у него подогнулись ноги.

И сказал:

— Господи помилуй.

* * *

Я ему сказал:

— Хрр. Не бойся.

И он сказал:

— Я не боюсь.

Он боялся.

Хрр. Я вам скажу, что было дальше, и это та часть, которую я люблю.

Он просидел на площадке до темноты.

А потом встал, зажёг фонарь, спустился, взял тряпку с камня, поднялся, повесил её на место, сел опять и сказал:

— Ну говори.

И я говорил.

Мне был год с небольшим, и я не умел говорить ничего, кроме того, что видел на отмели сорок на тридцать шагов.

И я ему в ту ночь рассказал всё, что у меня было.

Я ему рассказал, что под юго-западным камнем живёт шесть мышей и что они носят из погреба, и что в погреб они ходят не через дверь, а под порогом, где рассохлось. Что

чайки садятся на северный камень в одном и том же порядке и что первой садится та, у которой нет двух перьев в хвосте. Что вода у северного камня поднимается раньше, чем у западного, на столько, сколько человек идёт от сарая до двери. Что в фонаре справа стекло подвижное и дребезжит при западном, и что от этого дребезжания огонь не трогается, а при северном не дребезжит, а огонь садится.

* * *

Он меня слушал до света.

Хрр. А утром пошёл и посмотрел под порогом погреба.

И там было рассохшееся.

Вот с этого у нас и пошло.

Двадцать два года.

Я расскажу, как мы жили, потому что я такого больше не видел ни с одним из пятидесяти одного.

Мы работали.

Я объясню.

На деревянном маяке на дровах главная работа — не зажечь. Зажечь легко.

Главная работа — не дать погаснуть, и это надо делать всю ночь, и один человек этого не может, потому что за ночь надо подняться наверх восемь или десять раз, а наверх восемь саженей по лестнице, и лестница снаружи.

Их на маяке в те годы было девять человек: смотритель четырнадцатого класса, его денщик и семь матросов. И была лошадь, зимой, чтобы ездить по косе в деревню.

И всё равно их не хватало, потому что из девяти трое всегда были на берегу, двое больны, а один чинил лодку.

И я стал смотреть за огнём.

Я вам скажу, как это было устроено, и это единственное, чем я в своей жизни гордился.

Я сидел наверху, на площадке, под фонарём.

Я слышу, когда огонь садится. Это слышно: у огня в железном ящике со стёклами есть ровный звук, и когда дрова прогорают, звук делается тоньше, и это слышно задолго до того, как это видно.

И я спускался и шёл в нижнюю комнату и будил.

* * *

Хрр. Я будил так: садился человеку на грудь и говорил ему в лицо «хрр, садится».

И он вставал.

Двадцать два года.

Я считал. Я за двадцать два года будил, по моему счёту, около девяти тысяч раз.

Я вам теперь скажу главное про Прова и этим кончу главу, и этого я никому не говорил, потому что мне некому было сказать.

Он однажды сказал про меня в Кронштадте.

Это было в тысяча се

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.